Евгений Соловьев

Джон Мильтон. Его жизнь и литературная деятельность

Серия «Жизнь замечательных людей»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175453

Аннотация

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

Введение 5
Глава I 9
Глава II 14
Конец ознакомительного фрагмента. 16

Евгений Соловьев
Джон Мильтон. Его жизнь и литературная деятельность

Биографический очерк Евгения Соловьева
С портретом Мильтона, гравированным в Лейпциге Геданом

Введение

Английская Реформация. – Пуритане. – Смиренные и воинствующие. – Беньян и Мильтон.

Английская Реформация была делом короля Генриха VIII и его советников. В ней не было ничего решительного, ничего такого, что могло бы успокоить религиозную тревогу верующих людей XVI века. Английская церковь отказалась от иноземного главы – папы, но немедленно же создала себе другого папу в лице короля. Тот был объявлен блюстителем истины, и уже от него зависело заставить своих подданных верить так или иначе. Не признававший его главою церкви подвергался преследованию и казни. Король, завладевший всеми монастырскими имуществами и неожиданно увидевший миллионы в своих обыкновенно пустых сундуках, принял горячо к сердцу дело Реформации, решился защищать ее, хотя бы для этого пришлось пожертвовать самыми близкими людьми – например, Мором. Но он желал в то же время остаться в тесных пределах реформы и удовлетворился одним отрицанием власти папы, которая оказалась в его руках. Но такое устройство сопровождалось значительными неудобствами. Полумера не удовлетворила никого. Искренние католики, как и искренние протестанты, одинаково шли на эшафот; другие сдерживали свое недовольство лишь благодаря страху перед жестокими наказаниями. Генрих VIII и его советники совершенно упустили из виду, что никакими указами нельзя изменить серьезнейших интересов человеческой жизни. Серьезнейшими интересами человеческой жизни в XVI веке были интересы религии, веры. Сказать англичанину того времени: «Примирись с нашим церковным устройством» – значило то же самое, что сказать англичанину XIX века: «Примирись с тем, что ты – нищий». Религия давала смысл и содержание человеческой жизни. Религиозное чувство было глубоким, религиозные сомнения проникали «до мозга костей» верующих всех стран и наций. Вот, например, одно любопытное признание. «Пусть не забывает никто, – читаем мы, – что я был монахом и отъявленным папистом, до такой степени проникнутым и даже поглощенным доктриною папства, что, если бы мог, готов был или сам убивать, или желать казни тех, кто отвергал хоть на одну йоту повиновение папе. Защищая папу, я не оставался куском холодного льда, как он и ему подобные, которые сделались, как мне казалось, защитниками папы скорее ради своего толстого брюха, чем по убеждению в важности этого предмета. Даже более: мне и до сих пор кажется еще, что они насмехаются над папою, как истые эпикурейцы. Я же отдавался доктрине всем сердцем, как человек, который страстно боится дня судного и несмотря на то желает спастись, желает этого с трепетом, проникающим до мозга костей» (Лютер).

Подобное настроение было общим среди верующих людей. Можно ли было шутить с такими людьми, приказывать им, во что и как верить? А между тем в Англии дело походило на шутку. Только что явившись на свет божий по королевскому указу, английская церковь немедленно же провозгласила себя учреждением божественным, исходящим из воли Промысла. Это было по меньшей мере дерзко, так как у всех на виду она появилась по воле не Промысла, а Генриха VIII, короля английского, – смертного, во-первых, и, во-вторых, ни в коем случае не лучшего из смертных.

Явились «нонконформисты» – несогласные. При всей своей покорности королю они в делах веры не желали подчиняться какому бы то ни было человеческому решению. Их преследовали, и, как водится, преследование повело лишь к тому, что из десятков стали сотни, а из сотен – тысячи.

«Они, – говорит Маколей, – незадолго перед тем, полагаясь на собственное истолкование священных книг, восстали против католической церкви, сильной незапамятной древностью и общим согласием. Необыкновенным напряжением умственной энергии они свергли

иго этого пышного и державного суеверия, и нелепо было ожидать, чтобы они непосредственно после такого освобождения терпеливо подчинялись новой духовной тирании. Давно привыкшие при возношении священниками даров падать ниц, как перед сущим Богом, они научились теперь рассматривать мессу как языческий обряд. Давно привыкшие смотреть на папу как на обладателя ключей земли и неба, они научились считать его зверем, антихристом, человеком греха. Нечего было надеяться, чтобы они непосредственно перенесли на власть-выскочку то благоговение, которое перестали оказывать Ватикану; чтобы они подчинили свое частное суждение авторитету англиканской церкви, основанному на том лишь частном суждении, что они побоятся отщепиться от наставников, которые сами отщепились от папы. Легко понять негодование, какое должны были почувствовать сильные и пытливые умы, гордившиеся новоприобретенной свободой, когда учреждение, которое многими годами было моложе их самих, учреждение, которое на их глазах постепенно получало свою форму от страстей и интересов двора, начало подражать надменной манере Рима».

Особенно тяжелой и невыносимой сделалась жизнь верующих людей, когда при Карле I Стюарте (1625—1649) архиепископом кентерберийским и примасом Англии стал Лоод. Современным историкам он представляется человеком слабым, рожденным не в добрый час, но не бесчестным: скорее всего, он был просто несчастным педантом; по словам Карлейля, он напоминает «директора колледжа, для которого все в мире исчерпывается формальной стороной, правилами, и который думает, что в них именно жизнь и спасение мира». С такими застывшими, злополучными взглядами Лоод оказался неожиданно во главе не какого-нибудь колледжа, а целой нации, и ему пришлось примирять и регулировать самые запутанные, самые жгучие человеческие интересы! Он думает, что люди должны жить по старинным благопристойным регламентам; мало того – он думает, что все спасение их – в дальнейшем развитии и усовершенствовании этих регламентов. Как человек слабый и в то же время педант, он, стремясь к своей цели, делает страшные усилия, судорожно цепляется за нее, не внимая ни голосу благоразумия, ни чувству сожаления. Он должен добиться своего, – его школьники (вся английская нация!) будут повиноваться установленным правилам колледжа, это главное, и, пока он не достигнет этого, нечего думать о другом. Он – педант, родившийся не в добрый час…

При Лооде преследования за религиозные преступления, вернее отступления от правил колледжа, достигли своего апогея. Шпионы забирались в частные дома, выслушивая и выслеживая; собрания «несогласных» разгонялись, вожаков оппозиции били и мучили на публичных площадях, подвергали пыткам и безжалостному заключению.

Дух воинственного негодования постепенно креп в нации и сконцентрировался наконец в секте *пуритан.*

Редкой секте пришлось играть в истории такую выдающуюся роль. Пуритане учредили в Англии республику и протекторат Кромвеля; они казнили короля, уничтожили палату лордов, создали Соединенное королевство, присоединив Шотландию и Ирландию своим мечом к Англии; они основали Соединенные Штаты Северной Америки; они, наконец, оказали такое влияние на нравственность, семейную и общественную жизнь своих сограждан, что следы этого влияния чувствуются еще и по настоящее время. В чем же заключалась их сила? – спросите вы. История просто и коротко отвечает на этот вопрос: сила пуритан – в их серьезном и даже сурово-серьезном взгляде на жизнь.

Их прозвище происходит от латинского слова «purus», что значит «чистый». Пуритане поэтому – люди, стремящиеся к чистоте духовной и телесной. Грязь, от которой они должны очиститься, – это грех, как тот, который они могут совершить сами, так и другой, неизмеримо больший, совершенный еще нашими прародителями во время блаженной жизни под райскими кущами. Прародительский грех не знает себе равного: как вечное проклятие, как вечная угроза висит он над людьми. Думая о нем, пуритане чувствовали тот холодный ужас,

проникавший до мозга костей, о котором, как мы только что видели, говорит Лютер. Описывая искушение Евы, Мильтон восклицает: «Тогда Ева простерла свою дерзновенную руку и сорвала плод. Она вкусила от него. При этом земля почувствовала сильный удар, сетующая природа подняла плачевный вопль и возвестила, что все погибло…» Когда же и Адам соблазнился примером жены, «земля, терзаемая новой горестью, потряслась в самых недрах своих, природа испустила жалобный вопль, гром глухо зарокотал в мрачных тучах, надвинувшихся на небо, и небо пролило обильные слезы».

Перед громадностью этого греха ничтожны усилия отдельного человека. Сам он спастись не может. Пуритане, как и кальвинисты, верили, что большинство людей преступно до рождения, что Бог желал, предвидел, уготовил их погибель, от вечности предопределил им казнь и создал их затем лишь, чтобы погубить. Спасти злополучное создание может одна благодать, добровольная, чистейшая милость Божия, даруемая им лишь небольшому числу избранных. Остальные же, зачумленные и осужденные от рождения «сыны гнева», сколько бы ни глядели на небо, слышали бы лишь грохот небесного огня, ежеминутно готового их поразить. Многие считали себя осужденными и ходили со стенаниями по улицам, другие потеряли сон. Они вышли из нормального состояния и везде, во всем видели над собою руку Божию или когти дьявола.

И пусть читатель заметит, что когти дьявола не метафора, не словесный образ, что для людей XVII века все эти Молохи, Велиары, Астарты представлялись действительными существами, виновными в погибели бедных смертных. Темные силы без устали носятся вокруг человека, терзают его, вводят во искушение. Вы хотите их видеть? «Для этого надо сильно нажать глаз и, раскрыв его снова, можно заметить бесчисленные золотистые блестки, летающие по воздуху. Это – черти». Мысль о них, о грядущих вечных муках доводила бедных пуритан до уныния и отчаяния. Она свинцовой тучей висела над их сознанием. Могут ли они веселиться, принимать участие в делах и удовольствиях своего века? Лазурь неба не сияет им более, солнце не согревает их, красота природы на них не действует; они разучились смеяться, у них только одна мысль, одна забота: «Помилуют ли меня? Избранный я или осужденный?» Ведь для осужденного бесполезно даже Причастие! Они томительно всматриваются в невольные движения сердца, которое одно может отвечать, и во внутреннее откровение, которое одно может дать им уверенность в прощении или погибели. Они убеждены, что всякое другое расположение духа – нечестиво, что беззаботность и веселие – чудовищны, что всякое развлечение или забава – дело мирское, языческое, и что истинный христианин, понимая, какая безмерная разница между земной и загробной жизнью, должен вечно трепетать при мысли о спасении. Отсюда в нравы начинают вкрадываться суровость и ригоризм. «Пуританин осуждает театр, собрания и светскую пышность, любезность и изящные манеры, веселые трезвоны колоколов. Он удаляется от забавы, не носит украшений, коротко стрижет волосы, надевает только темное, гладкое платье, говорит в нос, ходит прямо, поднимает то и дело глаза к небу, имеет вид человека, погруженного в себя и равнодушного ко всему окружающему. Натуральный, наружный человек в нем подавлен, а взамен его остался один внутренний, духовный: душа безраздельно наполнена помышлением о Боге и совести – совести больной и тревожной, но строго соблюдающей всякую обязанность, внимательной к малейшей небрежности, возмущающейся против послабления светской нравственности, неистощимой относительно терпения, мужества, жертвы, вводящей целомудрие в семье, правдивость в суде, честность за прилавком, трудолюбие в мастерской, убежденность в общественных делах, всюду – упорную волю, желание скорее все перенести и пострадать, чем позволить себе хотя бы ничтожное исключение от предписаний справедливости или библейского закона. Упорная энергия, безукоризненная честность проснулись при крике восторженного воображения, люди перешли на путь отречения и добродетели».

Тревожная совесть пуритан не была, однако, больной совестью, способной лишь мучить человека бесплодным раскаянием, отнимая в то же время от него всякое желание действовать. Больная совесть гнетет человеческое сердце, парализует лучшие его порывы, превращая всю его жизнь в тяжелую непроглядную тоску. Не то совесть пробудившаяся, познавшая неправду и зло человеческой жизни и решившаяся восстать против них во всеоружии божественного закона. Постоянные преследования, которым подвергались пуритане, выработали в них неукротимую энергию, ожесточение, не признававшее никаких соглашений с врагами, воинственный дух, радостно ликовавший при возможности умереть за дело, представлявшееся им правым. Мало-помалу в тюрьмах, у позорных столбов, на эшафотах научились они не признавать другой власти, кроме власти Бога, другого руководителя, кроме Священного Писания. Если их учение, противное здоровой человеческой природе, и должно было перероди́ться в конце концов в ханжество и обрядность, то первоначально оно все же было искренним. И пуритане доказали эту свою искренность, доказали на страшном испытании «огнем и железом», которому то и дело подвергали их.

Из материала религиозной восторженности были созданы пуританские души. Эту восторженность вы одинаково найдете и у Беньяна, современника Мильтона, автора знаменитого «Piligrim's Progress», и у Кромвеля, и у других деятелей эпохи. Но Беньян изобразил лишь одну их сторону: самоуглубление. Все равно как тело творца «Piligrim's Progress» было всю жизнь заключено в узкую темницу, так и дух его не выходил за пределы самоочищения и совершенствования. В нем вы не чувствуете ничего ожесточенного, его гордость поглощена христианской кротостью. Это мученик, но не боец. Но у пуритан была и другая черта – суровая гордость, как называют ее историки. Она появилась не сразу, и, чтобы воспитать ее, нужны были обиды и гонения и безусловное сознание своей правоты. Вечное в пуританизме, его тоскующая душа, его самоуглубление, плач о грехах, страстная жажда спасения, религиозные восторги – все это нашло своего певца в простом меднике. Но пуританизм, вышедший за пределы самоуглубления и самобичевания, восставший с оружием в руках против всего, что представлялось ему злом и неправдой, пуританизм воинствующий, исполненный гордости и непреклонного мужества, нашел себе другого выразителя, сердце которого было одинаково способно и к любви, и к ненависти, и к прощению, и к злобе.

Этим выразителем был Мильтон.

Глава I

Детство. – Семейная обстановка. – Школа Св. Павла. – Университетские годы.

«Джон Мильтон родился в доме своего отца на Бридж-стрит, в лондонском Сити, в пятницу 9 декабря 1608 года в половине шестого утра». Этими словами Массон начинает жизнеописание великого поэта и продолжает его в том же тоне, с тем же неутомимым вниманием ко всем мелочам, с той же точностью до одной минуты, если можно так выразиться. В результате получается громадное шеститомное сочинение в несколько тысяч страниц, где нашли себе место все факты, которые прямо или косвенно могли влиять на развитие характера, убеждений, привычек Мильтона. В этой чисто мозаичной работе, сложенной из миллионов отдельных маленьких камешков, Массон не имел себе равного; благодаря ему мы действительно знаем Мильтона, его настроение в каждое данное время, его друзей и знакомых, его родных до пятого колена, обстановку дома, где он жил, – словом, все, что можно знать, взглянув на жизнь человеческую с ее внешней стороны. Достаточно Мильтону в одном какомнибудь из своих писем упомянуть имя случайного своего знакомого или просто человека, с которым он перекинулся несколькими словами в дороге, как неутомимое усердие Массона уже настороже, и читатель немедленно же получает все сведения об этом лице, какие можно только собрать в европейских архивах. Словом, с *внешней* стороны нельзя желать ничего лучшего и можно пожаловаться скорее на изобилие, чем на недостаток. То же самое приходится сказать и о внутренней жизни поэта, – и ее мы знаем всю до сокровеннейшей глубины. Сам Мильтон рассказал нам историю своего сердца в своих бесчисленных произведениях, в своих письмах, стихах и прозе, политических и ученых трактатах, драматических пьесах и, наконец, собрал ее, как в фокусе, в лучшем бриллианте своей писательской короны – «Потерянном Рае» («The Paradise lost»). Я не знаю во всем XVII столетии ни одного другого человека, чью жизнь и личность мы могли бы восстановить с такой завидной полнотой, как жизнь и личность Мильтона. Разумеется, в этом виноват прежде всего случай, сохранивший во всей целости и неприкосновенности каждую строку, написанную Мильтоном и о Мильтоне, и несомненно, что это очень редкий счастливый случай. Припомните, в самом деле, какая странная судьба постигла биографию Шекспира, родившегося всего на каких-нибудь 75 лет раньше Мильтона. О Шекспире мы почти ничего не знаем, и еще в настоящее время идут споры, был ли он на самом деле, не мифическое ли он лицо, как Гомер, или, по крайней мере, не псевдоним ли, под которым скрывали свои творческие произведения королева Елизавета и канцлер Бэкон? Насколько справедливо последнее предположение, для нас теперь не важно; взятое в целом, оно не выдерживает ни малейшей критики; но важен самый факт, что такое мнение могло появиться, держаться десятки лет и не получить ни одного несомненного опровержения. Так или иначе, оно имеет одну несомненную опору в том, что мы действительно не знаем относительно многих пьес, приписываемых Шекспиру, действительно ли они принадлежат ему. С Мильтоном ничего подобного не случилось, а что еще интереснее, ничего подобного и случиться не могло. Попробуйте уловить личность Шекспира в 37 его драмах. Едва ли вам это удастся. То он *как будто* говорит с вами в лице меланхолического Жака, уверяющего вас, что «мир – театр: в нем женщины, мужчины – все актеры»; то шутит с вами в лице циника Фальстафа, которого он наградил всем комизмом своего гениального ума; то вместе с Гамлетом доходит до помешательства перед грозным вопросом «быть или не быть» и чувствует священный ужас перед роковой загадкой смерти и той страной, откуда никто не возвращался. Не то, совершенно не то Мильтон. Вы поразительно быстро привыкаете к нему, его стилю, его нравственным изречениям, его серьезной, немного даже суровой личности, в глубине которой, под двойной оболочкой средневекового ученого и фанатически преданного своим политическим и религиозным убеждениям борца, неумолкаемо бьет

ключ самой нежной и возвышенной поэзии. Что, казалось бы, могло быть общего между «Сонетом соловью» («Sonnet to the nightingale») и «Потерянным Раем», на каждой странице которого вы слышите глухие раскаты революционного грома, – а между тем, всмотревшись попристальнее, вы увидите тот же стиль, ту же манеру. В ряду великих английских поэтов, которые непрерывно следовали друг за другом со дня рождения Шекспира по день смерти Мильтона, то есть на протяжении почти 150 лет, вы всегда узнаете Мильтона. Он выделяется между ними, как пуританин своей темной одеждой, опущенными глазами, серьезным лицом выделялся среди разодетых, облитых золотом придворных. Строго говоря, он – единственный великий поэт пуританской Англии, что и кладет на все, вышедшее из-под его пера, резкий и своеобразный отпечаток.

Мильтон происходил из пуританского семейства, где мужество, нравственное благородство, художественные наклонности к поэзии и музыке как будто нарочно собрались вокруг его колыбели, чтобы убаюкивать ребенка высокими и красноречивыми словами. Мать его – «примерная особа, славившаяся во всем околотке благотворительностью»; отец – серьезный, славный человек, «никогда не знавший отчаяния, разве что в те минуты, когда сомневался в спасении души». Отец Мильтона уже в юности потерпел за убеждения: родные нашли в его комнате английскую Библию, что было великим преступлением в глазах искренних католиков, лишили за это наследства и заставили молодого человека серьезно подумать о будущем. Он занялся адвокатурой, и так удачно, что в скором времени составил себе состояние, приобрел дом в Лондоне, имение и впоследствии мог дать своим детям блестящее образование и даже обеспечить их наследством на всю жизнь. Сухая и беспокойная работа адвоката по гражданским делам давала, однако, отцу Мильтона столько свободного времени, что он мог заниматься и литературой, и музыкой, к которой он чувствовал особенное пристрастие. Свой богатый слух он передал и старшему сыну-поэту, и это обстоятельство не представляется маловажным. Дело в том, что, когда вы читаете стихи Мильтона, вам кажется, что вы присутствуете в протестантском соборе, где, то стихая до едва слышного задумчивого журчания, то возвышаясь до грозных торжественных звуков, неумолкаемо играет орган. Таких стихов, как стихи Мильтона, не мог написать человек без музыкального дара. Он и обладал им в действительности, и впоследствии любил услаждать импровизациями тяжелые минуты своей жизни.

Композитор, причем один из лучших в свое время, и поэт, отец Мильтона особенно заботился, чтобы сын получил широкое и всестороннее литературное образование. В этих занятиях – все тревоги и радости его детства, а потом и юности. «Читатель без труда представит себе этого ребенка, жившего в образованной семье среднего сословия, где стремления были возвышенны, образ жизни регулярен, где перекладывали псалмы на музыку, где писали модные тогда мадригалы в честь Орианы (королевы Елизаветы), где пение, литература, живопись, вся умственная роскошь изящного Возрождения украшали собой серьезную простоту, трудолюбивую честность, глубокое христианское чувство Реформации. Весь гений Мильтона истекает отсюда: он внес блеск Возрождения в серьезный смысл Реформации, великолепие поэзии – в суровую доктрину пуританизма и очутился со своим семейством при слиянии двух цивилизаций, которые сумел примирить». Ниже мы увидим, в чем смысл этого примирения, как добро в поэзии Мильтона стало прекрасным, а прекрасное – добрым, или, лучше сказать, красота стала правдой, а правда – красотой.

До десятилетнего возраста при Мильтоне находился наставник, ученый и пуританин, «коротко обстригший ему волосы» и научивший свободно читать по-латыни; кроме того, Мильтон ходил в школу Св. Павла, бывшую неподалеку от дома, где он жил. Школа Св. Павла, сообщает Массой, была чисто грамматической, то есть предназначенной исключительно для получения классического образования. «Классическая премудрость сообщалась воспитанникам в очень широких размерах. В немного лет успевали они основательно озна-

комиться с лучшими поэтами и прозаиками Рима и *получали навык изящно говорить и писать по-латыни».* В меньшей степени изучался и греческий язык. Всем этим Мильтон занимался со страстью.

«Когда я был еще ребенком, – говорит один из выводимых им на сцену персонажей, очень на него похожий, – меня не привлекала никакая детская игра. Все силы моей серьезной души устремлены были на учение и знание, чтобы впоследствии посредством их работать для общего блага. Мне казалось, что я был рожден распространителем великой истины».

Но обучение не ограничивалось классическими языками, хотя они являлись краеугольным камнем. «Когда, – пишет Мильтон в латинской поэме, обращенной к отцу, – благодаря Вашим стараниям и жертвам я получил доступ к красноречию римского языка, прелестям Лациума и высоким словам, достойным языка самого Юпитера, употреблявшимся греками, – Вы посоветовали мне прибавить ко всему этому поэтические цветы, составляющие гордость Галлии; речь, которую новый итальянец (new Italian) испускает из своих безнравственных уст, – *и тайны, высказанные пророками Палестины…»*

Под старость, заметим кстати, Мильтон особенно ценил знание еврейского языка и ежедневно заставлял прочитывать себе главу из еврейской Библии.

16-летним юношей, в феврале 1624 года, Мильтон поступил в Кембридж студентом, как мы сказали бы в настоящее время. Это была роскошь, которой он был обязан своему отцу, не жалевшему денег для воспитания сына. Еще и в настоящее время жизнь английского студента обходится чрезвычайно дорого, и на 1000 рублей «можно в Оксфорде или Кембридже вести лишь самую скромную жизнь». В XVII столетии дело обстояло не лучше, и, не считая карманных денег, составляющих и составлявших всегда безусловную необходимость для юного англичанина, – за содержание Мильтона в университете отцу его ежегодно приходилось вносить 50 фунтов стерлингов, что в наши дни составило бы круглую сумму – 1500—2000 рублей. Однако он постоянно нуждался и, по собственному признанию, вынужден был жить «with unmost economy» – с величайшей экономией.

Еще и в настоящее время в Кембриджском университете, в коллегии Св. Троицы, можно видеть помещение, где, по преданию, жил Мильтон. Помещение это состоит из двух комнат: одной – в два окна, другой – совсем маленькой коморки, служившей вместо спальни. Здесь-то Мильтону и пришлось прожить более семи лет, без всякого разнообразия, если не считать поездок в Лондон на каникулы.

Всмотримся, однако, поближе в университетскую жизнь Мильтона. В Кембридже господствовали в то далекое время строгие статуты Елизаветы, стремившиеся регулировать жизнь наставников и воспитанников до мельчайших подробностей. Воспитанники должны прилично одеваться, вести скромную и нравственную жизнь и беспрекословно слушаться старших. Это правило стояло, разумеется, во главе всех остальных и сопровождалось различными вариантами применения, где были указаны средства возвращать овцу заблудшую на путь истинный. Выговор как легчайшее наказание практиковался особенно часто; затем следовали денежные штрафы, временное лишение свободы – попросту арест, а в исключительных случаях допускалось и изгнание неисправимого. Были и телесные наказания, но они уже выходили в описываемую эпоху из моды, хотя статуты допускают их для всех студентов не старше 18 лет и состоящих в звании «under graduates» – так сказать, воспитанников приготовительного университетского пансионата. Так как университет сам по себе составлял как бы маленькое государство в государстве, со своей собственной администрацией, своими представителями в парламенте, со специальными законами и обычаями, то и территория его строго была разграничена от территории города Кембриджа, причем статуты требовали, чтобы студенты без крайней необходимости не переходили за пределы университетских владений, рискуя в противном случае подвергнуться денежному взысканию или какой-нибудь другой пене. Распоряжение это было вызвано желанием сохранить студенче-

ские нравы в должной чистоте и благопристойности. День воспитанника был урегулирован следующим образом:

Все должны были вставать в 5 часов утра по звонку колокола и отправляться, не медля ни минуты, в капеллу, где совершалась обедня, не очень, впрочем, продолжительная – около часу. После обедни завтракали в общих коллегиальных залах и затем приступали к научным занятиям. Занятия эти были двух родов: коллегиальные и общеуниверситетские. Первые проходили под руководством туторов-наставников, вторые – профессоров. Занятия с профессорами похожи были на наши современные университетские лекции; тутор же играл преимущественно роль преподавателя и репетитора. Он руководил практическими занятиями. Круг предметов в то время не отличался обширностью; на первом плане стояли, конечно, латинский, греческий и еврейский языки, причем от студентов требовалось, чтобы они не ограничивались чтением и письмом на этих языках, но и постоянно упражнялись в разговорах на них. Было даже постановлено, чтобы они и в свободное время, на прогулках, например, не смели говорить между собою иначе, как на одном из древних языков. Кроме латинского, греческого и еврейского, проходились еще логика и философия. Математикой в ту эпоху интересовались настолько мало, что она даже и не входила в круг университетского преподавания и изучалась лишь в низших и средних школах. После четырех – пяти часов занятий по указанным предметам студенты опять собирались в столовой зале, где им предлагался обед. Подкрепив себя таким образом, они возвращались в аудиторию, но уже ненадолго, на один или два часа, и слушали диспуты. Затем время отдавалось в их полное распоряжение с единственным обязательством быть дома не позже девяти часов зимою и десяти летом.

Несмотря, однако, на все строгости устава и на особливую заботливость, проявляемую им о нравственности студентов, – поведение этих последних далеко не отличалось добродетелью. Большинство курили, многие пили, иные чувствовали особое пристрастие к картам, за которыми и проводили целые ночи, и прямо из-за карточного стола отправлялись слушать мессу. Три соседние с университетом таверны постоянно были наполнены посетителями, и многие воспитанники сохранили гораздо больше воспоминаний о кутежах, чем о лекциях профессоров, несмотря на всю их несомненную ученость. Существовали, разумеется, и другие забавы, к которым английское юношество тогда, как и теперь, питало большое пристрастие. Забавы эти заключались, главным образом, в физических упражнениях – верховой езде, катанье на лодке, боксе, игре в мяч. Устраивались всевозможные состязания, во время которых молодежь проявляла «гораздо больше энергии и предприимчивости, чем при философских диспутах». В этом отношении мало что изменилось со времени Мильтона: так, еще очень недавно лучшие английские педагоги признавали, что «наши университеты выпускают прекрасных *боксеров»*.

Однако, как ни своеобразна и замкнута была жизнь университета, внешние волнения не могли не влиять на нее. *Вне* шли споры между протестантами и католиками, пуританами и защитниками англиканской церкви. Эти споры крепли и ожесточались со дня на день, взаимная ненависть и неприязнь едва прятались уже под страхом и принуждением, нетерпеливо ожидая минуты, когда можно будет проявиться с оружием в руках.

Пуританский дух в Кембридже был довольно силен. Встречалось немало студентов, которые старались держать себя даже скромнее, чем того требовал устав, избегали развлечений, все свое время проводили за набожным чтением Библии и «с большим неудовольствием посещали мессу». Впрочем, к мессе большинство молодежи, кроме искренних англикан, относились очень непочтительно, позволяя себе иногда кощунственные выходки. Многие из наставников одинаково не отличались привязанностью к господствующей церкви и не особенно строго наблюдали за религиозным воспитанием юношества, предоставляя каждому право самому следить за своим отношением к Богу и церкви. Вообще Кембридж далеко не

был таким оплотом престола и веры, как его собрат – Оксфордский университет, что зависело среди прочего и от того, что в Оксфорде воспитывались главным образом представители аристократии, а в Кембридже – третьего сословия.

В университете Мильтон ни в чем не изменил привычкам, приобретенным в детские годы, усердно занимался весь день и часть ночи, несмотря на то, что его слабые от рождения глаза не выдерживали таких усиленных занятий и постоянно протестовали. Как юноша слишком углубленный в книги, он, разумеется, держался в стороне от товарищей и близко не сходился ни с кем. Его гораздо больше интересовали Цицерон и Софокл, чем бокс или верховая езда. Кабинетные наклонности проявились в нем чрезвычайно рано, а близкие к нему люди скорее поощряли, чем противодействовали им. Из своих комнат он почти никуда не выходил, разве на лекции или на непродолжительную прогулку, предпочитая всему одиночество и размышление. Не похоже, чтобы в университете у него были друзья; в его характере не было ни общительности, ни добродушия; он не умел ладить со всеми, быть занимательным и интересным для всех. Слишком серьезный, он вместе с тем был преисполнен сознанием собственного достоинства и дарований, высоко ставил самого себя, быть может, даже слишком высоко. Науку он любил, но не мог терпеть университета. Всегда отзывался он о нем очень непочтительно, и, вероятно, в эти юношеские годы зародился в нем смелый проект коренного преобразования университетской науки – проект, написанный им лишь в 1644 году. В этом проекте он предлагал обучать учеников всем наукам, всем искусствам и даже всем добродетелям. «Учитель, – говорит он, – обладающий достаточным талантом и красноречием, мог бы в короткое время развить в своих учениках невероятное мужество и прилежание, вливая в их юные сердца такой обильный и благородный жар, что без сомнения многие из них сделались бы непременно знаменитыми людьми, не имеющими себе равных». Между тем университет отталкивал от себя его гордую, непокладистую натуру, отталкивал легкомыслием своих нравов, своими интригами и сплетнями. Большинство его товарищей вели жизнь рассеянную и, несмотря на строгий устав, усердно потягивали винцо в своих комнатах. Студенты старались отличиться друг перед другом, но не в области науки, а в физических упражнениях, гордились своей силой и ловкостью; наука же оставалась на втором плане. Мильтон почти не принимал участия в их забавах: они были для него чуждыми, не менее чуждыми, чем и официальная университетская наука. Эта последняя отталкивала его от себя своей сухостью и схоластичностью. Дальше комментариев к Аристотелю она не ушла в то время, а эти вечные комментарии едва ли могут удовлетворить живого человека.

Поэтическая деятельность шла между тем своим чередом. Начав с переложения псалмов, Мильтон перешел к сонетам и элегиям, слишком, однако, незначительным, чтобы стоило останавливаться на них. Несомненно, однако, что и в это время под грудой все возраставших знаний, не умирая, струился чистый источник поэтического вдохновения. Научные занятия, анализ не убили в Мильтоне творчества: ученый и поэт уживались в нем мирно и один содействовал славе другого.

Семь долгих лет тянулся университетский курс. За это время Англия вынесла страшную чуму, приветствовала восшествие на престол нового короля, успела разочароваться в нем и мало-помалу собиралась с силами и мужеством, чтобы восстановить свои древние права и преимущества свободной страны.

Глава II

Жизнь в деревне. – Сонеты. – «Комус». – Комус и Фальстаф.

Семь лет университетской науки, комментарии и лекции не только не удовлетворили, а лишь разожгли страсть Мильтона к умственным занятиям. В искреннем восторге восклицает он: «Как счастлив тот, кто не должен трепаться по судам и хлопотать о чужих делах, чьи высокие думы не прерываются ежеминутно мелочными заботами о семье и хозяйстве, кто не напрягает своего остроумия, чтобы вызвать милостивую улыбку своего господина, кто не знает по утрам тоски и болезни после развратной ночи, кто видит перед собой долгую вереницу дней таких же спокойных, как сегодняшний, посвященных любимым занятиям в обществе неизменных и лучших друзей каждого – его книг и рукописей!» В нем была неугасимая жажда любознательности и творчества; обстоятельства жизни сложились так, что редко вызывали его на свет божий из кабинета, где он провел целые годы, и, наверное, самые счастливые годы. Он окончил университет в 1631 году и немедленно уже стал строить план дальнейших работ. Он особенно радовался тому, что может уехать теперь в имение отца и там, «на покое и просторе, среди пения птиц и аромата цветов, вызывать перед собой вечно живые образы древности и упиваться красотой классической музы». В это время ему исполнилось 23 года. Отец, по-видимому, задумывал женить его, но самому Мильтону даже и не приходила в голову подобная мысль. Матримониальные проекты так и остались надолго неосуществленными.

Целых четыре года провел он в деревне. Он любил, по его собственным словам, «слушать жаворонка, который взвивается на высоту и будит своим пением задумчивую ночь до тех пор, пока не встанет полосатая заря; земледельца, посвистывающего над своей бороздой; молочницу, распевающую от чистого сердца; косца, натачивающего косу в долине под боярышником; любил смотреть на майские пляски и увеселения в деревне, любоваться пышными процессиями и жужжанием снующей, деловой толпы в украшенных башнями городах», куда, кстати сказать, он изредка наезжал.

В нем – англичанине, к тому же поэте – была искренняя, здоровая любовь к природе, к деревенской жизни. Ничто не представлялось ему более прекрасным и возвышенным, чем гроза с громом и молнией, разразившаяся над уставшими от летнего зноя полями, утренняя заря, распускающая на небе свои огненно-пурпурные лепестки, закат и восход солнца. Религиозное чувство создавало из этих обычных явлений будущие образы «Потерянного Рая»; то грозно негодующее, то бесконечно кроткое смотрело на Мильтона Божество «в своей царственной одежде, усеянной звездами». Он находил поэзию как в бурных, так и в самых обычных явлениях земли и неба, и годы, проведенные в деревне, всегда называл счастливейшими в своей жизни.

Гортон, где он жил, был прелестным местечком. Расположенный на холме, на берегу веселой речки, окруженный рощами и садами, за которыми тянулись поля и бесконечные, вечнозеленые пастбища, он как нельзя лучше отвечал всем требованиям поэтического творчества. Мир и тишина царили в нем, редкие посещения соседей не тревожили хозяев, а лишь развлекали их. Прогулки, рыбная ловля, верховая езда – словом, все обычные удовольствия английского сельского джентльмена средней руки находились в полном распоряжении Мильтона.

Он, повторяю, был доволен.

Надо, впрочем, заметить, что избранный им для себя способ жизни является далеко не обычным. По английским понятиям, молодой, здоровый человек двадцати с небольшим лет не должен был жить так. Требовались определенные занятия и заработок и как венец человеческих усилий – счастье семейного очага в собственном доме с женою и детьми. Но

Мильтон не избрал для себя никакой профессии, которая позволила бы ему делать деньги. Он не хотел быть адвокатом, как отец, купцом, как его родственники. Он мечтал и учился и в глазах своих соседей являлся чудаком. Его кабинетных усиленных занятий не видел никто, но все видели его во время прогулок или деревенских развлечений. Про ленивого сына м-ра Мильтона-старшего шли по всему округу не особенно лестные толки, но, так как м-р Мильтон-младший, будущий великий поэт, не обращал на эти толки ни малейшего внимания, то они и прекратились в скором времени. Что же поддерживало и вдохновляло нашего героя, что позволило ему отступить от обычной тропы и идти по своей собственной, не обращая внимания на окружающее? Отец, как мы видели, горячо его любил и предоставил ему возможность жить как заблагорассудится; Мильтон мог не думать о средствах не только на завтрашний день, но и вообще на будущее. Однако не в этом заключалась главная причина его необычного образа жизни. Главная причина лежала не вне человека, а внутри его, не в деньгах, получаемых от отца, а в вере в свое призвание *поэта.* В этом – вся суть, в этом – руководящая нить для понимания всей жизни Мильтона. Он рано, еще в университете, угадал свое назначение и без устали служил ему вплоть до могилы. Он не хотел сделаться адвокатом, потому что знал, что будет плохим законником и великим поэтом; впоследствии, оставив сонеты и поэмы ради политических памфлетов, он все же не забыл о главном своем призвании и издал первый сборник своих произведений, закончив его словами: «baccare frontem cingite ne vato noceat mala lingua future» («обвейте голову священной повязкой и молчите, чтобы будущему пророку не повредило неблагоприятное слово»).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.